Меня не сломили!

Павел А Стенькин

SHOUT
SHARE
IT

- Стенькин Павел А
  -
  - Отступление
  - Бой
  - Плен
  - Освенцим
  - Зима
  - Весна
  - Побег
  - Снова в плену
  - Новый побег
  - По Украине
  - Куща
  - Освобождение

Стенькин Павел А
Меня не сломили!

Утро 22 июня 1941 года застало нас в 200 метрах от пограничной заставы в Западной Украине, на стыке венгерской и польской границ, в заранее вырытых и хорошо замаскированных окопах.

Перед самой войной, когда стало известно, что противник стягивает войска к западной границе Советского Союза, обстановка резко обострилась. Мы знали: в случае начала военных действий враг уничтожит наши погранзаставы, обеспечивая себе беспрепятственный переход границы.

Когда на рассвете в глухой горной тишине раздался залп десятков, а может, и сотен артиллерийских орудий, страшное слово «война» стало для нас реальностью. Что мы почувствовали? Страх, возмущение, ненависть… В одно мгновение перед глазами пронеслась вся жизнь. Вспомнилось, как радовались, как гордились мы тем, что выпало служить на границе, охранять ее от врагов Родины, зорко следить за тем, чтобы вражеские шпионы не проникли в наши города и села. И вдруг — война…

Отступление

В течение нескольких минут шел артобстрел. Когда от здания заставы ничего не осталось, огонь был перенесен дальше, в тыл. Враг, видимо, посчитал, что нанес нам большие человеческие потери, но он ошибся — на заставе людей не было. [230]

Наконец орудия смолкли, наступила напряженная тишина. По шоссе Львов — Будапешт, проходившему по середине охраняемой нами территории, непрерывным потоком двигались танки. За ними шла пехота. Этот поток невозможно было остановить: несмотря на то, что мы; открыв сильный огонь, подбили несколько танков, враг продолжал продвигаться в наш тыл. Пришлось перенести огонь на вражескую пехоту — она была более уязвима: люди разбегались в стороны, пытаясь уйти из зоны обстрела, и падали мертвыми по обочинам дороги. Обнаружив наше местонахождение, фашисты открыли ураганный огонь, и тогда мы получили приказ с боями отойти к комендатуре. Путь наш пролегал через горы. Внизу по дороге двигались крупные механизированные силы врага, а мы сверху, с гор закидывали их гранатами и обстреливали из противотанковых пушек.

Когда мы подошли к комендатуре, там уже были собраны воинские части с близлежащих застав. Соединившись с ними, мы почувствовали себя уверенней. Тем более что теперь в нашем распоряжении была легкая артиллерия, да и позиция у нас, что и говорить, была более выгодной. Оказывая врагу серьезное сопротивление, уничтожая его живую силу и технику, мы с боями отходили к городу Сколу, где располагался пограничный отряд.

Бои были тяжелые, силы наши таяли. С каждым днем увеличивалось количество раненых, затруднявшее и замедлявшее наш переход. Приходилось отступать по узким горным дорогам, в то время, когда враг двигался по шоссе. Но у нас было преимущество — нас укрывали горы и родные леса, поэтому советские части, нанося противнику ощутимый урон, были сравнительно малоуязвимы. [231]

Враг, ощущая свое численное превосходство, а особенно превосходство в технике, осмелел и теперь двигался по советским дорогам строевым маршем. Мы воспользовались его самонадеянностью и начали устраивать засады на крутых поворотах шоссе. Об одной такой засаде мне хочется рассказать.

Получив от разведки сообщение о продвижении противника, мы поставили на повороте дороги, в кустах, две полуторки. На машинах установили четырехдульные пулеметы, а на склонах гор сосредоточились основные силы. Дозор врага мы пропустили

вперед, а по основным силам, подпустив их как можно ближе, открыли огонь из всего имеющегося у нас оружия. Так, всего за несколько минут нами было уничтожено несколько сот фашистов, захвачены значительные трофеи и множество пленных. Технику, которую невозможно было взять с собой, уничтожили, сбросив в реку. Затем, воспользовавшись паникой противника, мы отошли на новый рубеж готовиться к следующему удару.

Получив несколько подобных «уроков», враг стал осторожнее. Он усилил наземную разведку, пустил в ход авиацию. С утра до вечера в небе гудели разведывательные самолеты, мы их прозвали рамами. Обнаружив наши части, летчики моментально доносили об их месторасположении в штаб, и уже через несколько минут над головами появлялась стая штурмовиков. Тактику пришлось изменить — теперь днем мы вели бои, а с приходом ночи перебазировались на новые позиции.

Нашим ночным отходам мешали банды бандеровцев, внезапно — то из населенных мест, то из леса — открывавшие огонь по колонне. Вначале мы [232] принимали их за немецких десантников, но, взяв в плен несколько человек, убедились, что стреляли по нам соотечественники.

Бой

По приходе в Скол был получен приказ отойти за город — нашим измученным в боях частям нужна была передышка. Но отдыхать не пришлось… Не успели мы отойти от города и на 10 километров, как пришло сообщение: к пригороду подходит противник, дан приказ отбросить врага от города и удерживать его там любой ценой. В срочном порядке, на машинах, нас перебросили к Сколу, где соединили с частями пехоты, обороняющей город. В жестокой рукопашной схватке у реки Стрый, враг был разбит.

Так с боями дошли мы до Шепетовки, где в былые времена молодая Красная Армия прославила себя в боях с белополяками. Дальше отступать некуда, думали мы, нельзя отдавать врагу это священное для нашего народа место. Но получилось иначе: не успели бойцы обосноваться, как пришел приказ к отступлению — враг окружал нас. С тяжелыми боями продвигались в глубь России, на восток. Штаб находился в районном городе Сквире.

И вот 13 июля — новый приказ. Высадка крупного вражеского десанта в Энском районе. Регулярными войсками десант был обнаружен и разбит, перед нами же стояла задача уничтожить уцелевших диверсантов, для чего на машинах, затем по железной дороге нас доставили в Энский пункт. Перейдя по плотине заболоченную речушку, перед самым рассветом мы заняли оборону на высоте Н. С первыми лучами солнца противник обнаружил наше [233] присутствие; начался обстрел. Окопаться мы не успели, поэтому, не желая выдавать своего точного месторасположения, сидели тихо. Когда же на нас пошла вражеская пехота, волей-неволей пришлось обороняться. Часа через три разведка доложила о большом количестве вражеских танков, движущихся в нашем направлении. Мы приуныли, но тут, как нельзя кстати, со станции прибыл артиллерийский дивизион, и бойцы воспряли духом, разом почувствовав себя уверенней.

В 4 часа дня началась сильная артиллерийская перестрелка, а еще через 15–20 минут на нас пошли немецкие танки: по фронту и с флангов. Для обороны наша позиция была идеальна, но, поскольку в распоряжении части не было противотанковых пушек, вражеская бронетехника, а за ней и пехота, беспрепятственно подходили все ближе. Враг намеревался взять нас в кольцо. Связки противотанковых гранат, которыми мы забрасывали фашистов, подпустив их поближе, были каплей в море: вслед за первым рядом танков на наши позиции надвигался второй. Силы быстро таяли. Уцелевшие немецкие танки через

наши окопы прорывались в тыл. Второй ряд танков утюжил гусеницами наши сильно пострадавшие огневые точки и стрелковые окопы.

В таких неравных, тяжелейших условиях проявлялось мужество советских воинов. Как сейчас вижу начальника штаба нашего, 94-го, погранотряда майора Врублевского. В парадном обмундировании, бледный, но внешне спокойный, стоял он на открытом шоссе и командовал боем. Это пренебрежение к смерти воодушевляло бойцов, мы били немцев, невзирая ни на что: ни на их численное превосходство, ни на их превосходство в военной [234] технике, ни даже на собственную смертельную усталость. Здесь каждый был героем.

Судя по количеству танков, брошенных на Энскую высоту, немцы, видимо, рассчитывали встретить там сопротивление как минимум нескольких воинских подразделений, а не единственного разбитого погранотряда, и без того уже измотанного боями и отступлением от самой границы. Бой был поистине смертельным: стремясь сломить наше сопротивление, уничтожить советские войска, фашисты неистовствовали: не разбирая, где живые, где мертвые, они давили людей гусеницами танков, а шедшая следом пехота расстреливала из автоматов всех, кто еще мог двигаться. Когда наши силы практически иссякли, отряд получил приказ отходить через плотину на восточную сторону реки. Но было поздно — первые же бойцы, показавшиеся на плотине, попали под мощный кинжальный огонь. Мы поняли: отступление по плотине невозможно, оставался один путь — через болото, и мы двинулись в восточном направлении. На нашем пути было несколько немецких пулеметных точек, но это еще не самое страшное — пулеметчиков мы быстро ликвидировали, а вот немецкие танки и пехота тем временем подошли к нам практически вплотную. Отряд был окружен, и мы решили попытаться прорывать вражеское кольцо. Собрав на окраине деревни оставшиеся силы, отряд двинулся вперед, но неожиданно нарвался на фашистскую засаду. Завязался неравный бой.

В первые же минуты этого боя меня ранило в ногу осколком мины. Бросив гранату в немецких пехотинцев, бежавших прямо на меня, я отполз к обочине дороги и затаился там в небольшой ложбинке. [235]

Вижу, метрах в ста от меня, движется по дороге вражеский танк, а на броне его сидят автоматчики и механически поливают огнем местность. Заметив движение, немцы стали стрелять в мою сторону. Я замер. То ли враги сочли меня мертвым, то ли их что-то отвлекло, но огонь переместился в другую сторону. Выждав

время, я медленно перевернулся на живот и постарался незаметно переползти из ложбинки в более глубокий придорожный ров. Немцы снова открыли по мне огонь, но я был уже недосягаем для их пуль. Сразу за рвом росли кусты шиповника, широкой полосой окаймлявшие дорогу, а за кустами начиналось пшеничное поле.

Садилось солнце. Если бы не война, я бы наверняка залюбовался, глядя, как в его предзакатных лучах переливаются волны высокой золотой пшеницы. Но за спиной разрывались снаряды, трещали пулеметные очереди; воздух был пропитан запахом пороха и тротила, а поле изрыто гусеницами вражеских танков. Вдалеке маячил островок нетронутой пшеницы, и я пополз туда, не замечая красот природы, мечтая лишь об укрытии. Было жарко, очень хотелось пить. Я полз, оставляя за собой кровавый след — рану забинтовать было нечем. Свой индивидуальный пакет я истратил на перевязку товарища, раненного в живот незадолго до того, как я получил свой осколок в ногу. Рана адски болела, но я полз и полз до тех пор, пока не потерял сознание.

Плен

Очнулся я на холодном полу в большом неуютном помещении, расположенном, как я узнал позже, на станции Пепельна. Первым, кого я увидел, [236] был мой товарищ с погранзаставы — Иван Прохоров, со Смоленщины. Он склонился надо мной, и я, пересилив свою слабость, спросил его: «Ваня, где мы?» Наверное, я говорил очень тихо, так как Иван не расслышал моих слов. Я переспросил, и он ответил: «Мы военнопленные…»

Его ответ стал для меня настоящим ударом. «Я пленный», — повторял я про себя и не верил. Вспомнились книги, читанные в детстве, — рассказы о людях, попавших во вражеский плен. Мне, мальчишке, школьнику, герои этих книг представлялись сильными, мужественными, обязательно пожилыми людьми и почему-то непременно с усами. Я же, безусый мальчишка, и вдруг — «пленный». Промелькнула спасительная мысль: «Иван что-то путает!» Я попытался подняться на ноги, но сильнейшая боль бросила меня обратно на грязный холодный пол. Я попросил Ивана приподнять меня, и увидел вокруг себя людей — военных, без головных уборов, без ремней, с лицами угрюмыми и растерянными. Я снова лег на пол и попытался вспомнить все, что произошло со мной в последнее время. Перед глазами встал бой, затем ранение, пшеничное поле… Как же я оказался здесь? Ответа не было.

Уже давно ночь, болит нога, никак не могу уснуть. Очень хочется пить, во рту пересохло, а воды нет. Вокруг слышны стоны, проклятия. В воспаленном мозгу одна мысль: я пленный. Почти одновременно рождаются десятки планов побега, один невероятнее другого. Но за дверью — тяжелые шаги фашистов, и ранение не дает о себе забыть ни на секунду. А пленные все прибывают и прибывают.

На станции Пепельна немцы продержали нас около недели, затем под дулами автоматов вывели [237] на перрон. Здоровых построили в колонну, раненых уложили на телеги и погнали пленных в Житомир. Всю дорогу кормило нас местное население, жители окрестных деревень, сами недоедавшие, несли продукты пленным бойцам. Даже когда нас держали на станции, женщины приносили еду в узелках.

В Житомире нашу колонну загнали на участок, огороженный колючей проволокой прямо в чистом поле. Этот временный «лагерь» был уже достаточно обжит — военнопленных за «колючку» было согнано много. В одном из углов этого загона существовал даже свой лагерный «госпиталь». Врачи и другой

медперсонал, сами военнопленные оказывали посильную помощь раненым бойцам. Медикаментов не было, не было даже перевязочного материала — стирали чужие окровавленные, гнойные бинты. Неудивительно, что у многих раненых в ранах копошились черви, а в «госпитальном» углу стоял тяжелый гнилостный запах — запах разложения.

Кормили нас в этом «лагере» кониной — мясом лошадей, убитых на поле боя, и немецким хлебом, испеченным еще до войны: снаружи он был еще похож на хлеб, но стоило его разломить, как над буханкой поднималась зеленая пыль.

Так начались мои странствия по фашистским лагерям. Из Житомира вскоре нас переправили в Ровно, затем в Ковель, где мы жили в землянках, а спали на голой земле. Затем — пересыльный лагерь уже в самой Германии: огромная огороженная территория и полное отсутствие каких бы то ни было жилищ. Здесь я понемногу начал ходить.

Стоял октябрь, а у нас не было ни сапог, ни шинелей, ни шапок. Мы устраивали себе жилища, кто как мог — чаще всего выкапывали ямы в песке и покрывали [238] их корнями деревьев, попадавшимися при копке. По утрам палками и плетками выгоняли нас немцы на поверку. Мы возмущались подобным издевательствам над советскими гражданами! Тогда еще мы не знали, что эти мучения были лишь преддверием, лишь началом тех мук, что нам пришлось вынести впоследствии, в куда более жутком месте, чем это.

Ночи становились все холоднее. Не выдержав голода и холода, многие военнопленные умирали. Наконец немцы решили построить для нас землянки. Наши новые жилища — бараки строились так: выкапывались ямы длиной метров 100 и шириной метров 8, сверху ямы покрывались цельными хвойными деревцами: стволами вместе с ветками. Деревья мы таскали из леса, находившегося за территорией лагеря. Под усиленным конвоем на рубку леса ежедневно водили человек по 80, по 100.

В это время в лагере была организована подпольная группа из 11 человек, куда входил и я. Мы разрабатывали план освобождения военнопленных этого лагеря. План был таков: всей подпольной группе одновременно попасть в список рубщиков леса, получить рабочий инструмент (топоры, ломы и др.) и использовать его в качестве оружия при нападении на охрану. Все 11 человек должны были вооружиться инструментами и равномерно распределиться по длине колонны, а в лесу неожиданно напасть на конвоиров и перебить их. Завладев автоматами охранников, следовало обезоружить немцев в караульном помещении и освободить весь лагерь. Побег

готовился к 24-й годовщине Октября.

Вначале все получилось, как и было задумано: все 11 человек попали в колонну, все были вооружены [239] инструментами. Около ста человек в тот день направлялись на рубку леса. Немцы выгнали колонну за территорию лагеря, сопровождающий пошел с докладом в караульное помещение, а мы остались ждать. На душе было тревожно: слишком уж долго держат нас у ворот лагеря. Через некоторое время ворота открылись, и нас загнали обратно, за колючую проволоку. Колонну оцепили, начали называть номера тех, кто участвовал в заговоре. К концу поверки перед строем стояли 10 человек — одиннадцатый был провокатором.

Нас сильно избили и загнали в так называемые «колодцы» — четыре столба с натянутой между ними колючей проволокой. Провинившихся загоняли голыми. Поскольку дверей в этом сооружении не предусматривалось, попасть внутрь можно было только одним способом — раздвигая ряды колючей проволоки руками. Если делаешь это быстро — рвется кожа на руках и на всем теле, если двигаешься медленно, тебя жестоко избивают. В «колодцах» мы простояли голыми трое суток, после чего нас связали, отвезли на станцию и закрыли в товарном вагоне. В ночь с 6 на 7 ноября поезд тронулся и повез нас в лагерь смерти — в Освенцим. Мы еще не знали, что для многих из находившихся в эту ночь в вагоне товарищей, этот путь станет последним.

Освенцим

Ранним морозным утром эшелон наконец остановился. Началась выгрузка людей, обреченных на уничтожение. Крики, стоны, немецкая ругань. Мы с товарищами ехали в последнем вагоне, но вскоре [240] очередь дошла и до нас. В распахнувшиеся двери вагона ворвался ледяной воздух, а за ним — несколько эсэсовцев. Посыпались удары — били прикладами автоматов, чтобы мы выходили из вагона. Тот факт, что мы связаны по ногам и рукам и не можем идти, не имеет значения. Наконец до них это доходит, и с громкой руганью нас выбрасывают из вагона на мерзлую землю. Снова бьют. Потом, наконец, развязывают руки и ноги, но, в добавок ко всему, раздевают догола. Не давая опомниться, гонят на территорию лагеря, ставят в общий строй — к таким же обнаженным, посиневшим от холода людям, уже несколько часов (на ноябрьском ветру!) ожидающим очереди на «санобработку». Очень холодно. Люди жмутся друг к другу, чтобы хоть немного согреться, но это им не позволено — малейшее движение вызывает лавину палочных ударов. Бьют за все: за то, что мы худые, за то, что не можем, голые, стоять на морозе в течение нескольких часов, за плохое равнение в строю, за то, что мы советские люди, в конце концов!

Очередь редела. Окровавленные, с разбитыми головами люди падали на землю десятками. Напряжение нарастало, люди сжимали зубы, чтобы не сорваться, не закричать. Не всем это удавалось. Неожиданно, где-то в середине колонны, раздался отчаянный крик: «Что вы делаете с людьми, ИДИОТЫ!» Не успел человек закончить фразу, как его выволокли из строя, ударом локтя в подбородок сшибли с ног. Упав на спину, из последних сил наш товарищ еще успел крикнуть: «Да здравствует советская Родина!» до того, как кованый фашистский сапог наступил ему на горло. Разом все замерли, окаменели. Слышен был только хрип умирающего, [241] но и тот вскоре затих. Палач улыбался — свою работу он исполнял виртуозно.

По мере приближения к изгороди, ряды военнопленных таяли. Наконец, пришла и наша очередь пройти санобработку. Проводилась она так: по 25 человек загоняют за изгородь, там им бреют головы, а если есть борода, то сбривают и ее. За этим следует «дезинфекция» — продрогших на ледяном ветру людей сталкивают в железобетонный колодец с ледяной водой и заставляют трижды окунуться с головой. Если человек — по слабости или случайно — окунался не полностью, если над водой

видна была хотя бы макушка, то прикладами автоматов, сапогами или палкой фашисты обязательно «помогали» жертве полностью погрузиться в ледяную купель. Затем вытаскивали — полумертвыми или полуживыми. К концу «дезинфекции» вода в колодце стала красной от крови.

После данной процедуры (мы прозвали ее «кровавым крещением») оставшихся в живых ждало новое испытание. Заключенных бегом погнали к отведенным им блокам — а это 2 или 3 километра! Замерзшие и истощенные, люди просто физически не могли бежать — и снова побои; снова убитые. Тем же, кто выдержал этот «кросс», «наградой» стала минута в теплой ванне. «Награда» весьма сомнительная, минуты было явно недостаточно для того, чтобы согреться, но фашисты этого и не предусматривали. Коварство этого способа пытки мы оценили позже, когда после ванны нас выстроили вдоль бараков, голыми, на морозе дожидаться, когда последняя партия пройдет «кровавое крещение».

Фашисты расценили правильно: жгучий ноябрьский ветер кажется особенно убийственным после [242] холодных вагонов, после целого дня нагишом на улице и теплой воды. Холод пробирал до костей. Даже самые терпеливые, и те стремились хоть на секунду прижаться друг к другу. Но снова команда «смирно», снова побои, убийства.

Наконец подошли последние «окрещенные». После долгой, неимоверно тщательной проверки и пересчета нам разрешили войти в барак. Принесли долгожданный ужин — кусочек эрзац-хлеба, испеченного из древесной или каштановой муки, и баланду из брюквы, где-то три четверти литра. Вечерняя поверка. Отбой. Кое-как разместились мы на полу в одной из комнат барака: камера была довольно большая, но из-за тесноты не то, что лежать, сидеть было негде. Истощенные, измученные мы тотчас заснули.

Неизвестно, сколько прошло времени, но вдруг мы услышали шум. Стоны, крики и ругань раздавались все ближе. Мы затаились и приготовились к очередному «сюрпризу». Вскоре дверь распахнулась, и в камеру ворвались полтора десятка эсэсовцев (мы их называли «эсманами») с палками и плетьми. Бегая по камере, прямо по голым людским телам, эсманы сыпали ударами направо и налево. Потом мы узнали, что это побоище оказалось обычным лагерным подъемом.

Было 4 часа утра. Очевидно, считалось, что столь короткий отдых смог восстановить наши силы. Но подняться с холодного пола в это (наше первое в Освенциме) утро было суждено далеко не всем — кто-то умер ночью, кого-то убили во время «подъема».

Выживших «счастливчиков», подгоняя ударами палок, снова выгнали «на аппель» (то есть на поверку) голыми. Падал мелкий снег. Узников выстроили [243] около барака в 10 рядов: выстраивали по росту — сзади самые высокие, потом меньше и еще меньше. Все хорошо просматривались: прижаться друг к другу, спастись от поистине невыносимого холода было невозможно — либо смерть, либо увечье. А жить хотелось вопреки всему.

Ночью ударил сильный мороз, землю сковало, и стоять на ней босыми ногами было истинной пыткой: сначала под ногами тает снег, потом ступни примерзают к земле. По команде «смирно» мы простояли на морозе до 7 часов утра. В семь нам выдали брюки, гимнастерки и обувь — деревянные колодки. Шинели и головные уборы нам так и не дали.

Под звуки марша и под усиленным конвоем с собаками нас погнали на копку канав под фундаменты бараков — на болотах строились новые концлагеря Биркенау-1 и Биркенау-2. Работали мы до поздней ночи, подгоняемые палками эсэсовцев и их помощников: капо, фор-арбайтеров и других холуев, набранных из немецких бандитов, польских националистов, монахов, ксендзов и всевозможных шкурников. Эти тоже, под стать своим хозяевам, били и убивали за малейшую провинность: стоило на секунду выпрямить спину, перекинуться парой слов с соседом, мало взять земли на лопату и недалеко выбросить, — все это считалось провинностью и жестоко наказывалось.

В конце рабочего дня те, кто остался в живых, должны были подобрать убитых и сложить их в один ряд, после этого рядом с покойными усадить всех больных и раненых, а затем и самим выстроиться на поверку. После того как общее количество выгнанных в этот день на работу сошлось с количеством убитых, раненых и пока еще дееспособных людей, [244] стоящих на поверке, мы сложили мертвых на телеги, впряглись в них и повезли в лагерь. Раненых вели под руки. Когда мы подошли к лагерю, увидели на воротах надпись по-немецки: «Работа делает свободу». В нашем случае эта надпись по-другому: «Работа делает смерть». Около ворот уже стояли музыканты и играли тот же марш, что и утром. Возможно, играли они хорошо, но до чего же нам сейчас была ненавистна и противна эта музыка! Музыка, а рядом — смерть!

Еще до недавнего времени мы были солдатами, поэтому привыкли: где музыка, там отдых, радость. В походах под звуки марша идти было легче и веселее. Сейчас же мы, голодные, продрогшие, еле передвигающие ноги от усталости, запряженные в телеги с убитыми товарищами — мы были неблагодарными

слушателями…

В лагере нас снова выстроили на вечернюю поверку, которая длилась несколько часов. Без шинелей, без головных уборов мы безропотно стояли на морозе, а те, кто не выдерживал этого издевательства, получал от блокфюрера скорую смерть. После поверки нас снова загнали в бараки, выдали ужин. Отбой, затем новый подъем при помощи палок. Даже смерть не являлась спасением от утренних побоев — не разбираясь, фашисты одинаково поднимали на работу как спящих, так и тех, кто ночью скончался. И так день за днем.

Зима

Условия содержания военнопленных были поистине адскими. Сил не хватало даже на то, чтобы познакомиться с товарищами по несчастью, а уж об [245] организации подпольной группы не могло быть и речи. Мозг отказывался работать. Постоянное ожидание неминуемой и мучительной смерти погружало нас в какое-то аморфное состояние, сил хватало лишь на то, чтобы механически выполнять команды наших мучителей. Мысль была одна: «только бы вытерпеть сегодня, а завтра как-нибудь убежать», но зато эта мысль не покидала нас ни на минуту. Мы скрывали свои настоящие имена, давая друг другу клички, а эсэсовцы и вовсе выкликали узников по номерам, выколотым у каждого на груди.

После того как были вырыты котлованы, нас перебросили на работу в карьере по добыче гравия — возить камень на тачках к месту будущего лагеря. Туда же неизвестно откуда подвозился кирпич. Работая на строительстве, мы совершили первую попытку к побегу. Заложили в штабель привезенного кирпича двух наших товарищей. Вечером, во время поверки, немцы их не досчитались, но найти так и не смогли, а после нашего ухода в лагерь ребята убежали.

Таким же образом был подготовлен второй побег, но он уже не удался. Спрятавшихся узников фашисты теперь искали с собаками. Нашли и расстреляли на месте. Были приняты репрессивные меры: за первых двух убежавших и за обнаруженных вторых в подвале блока смерти расстреляли по двадцать человек за каждого. При этом из приговоренных к расстрелу в живых оставили двоих — для острастки, чтобы они рассказали остальным, что ожидает непокорных за попытку к бегству. После этого случая поверка стала особенно тщательной. Убежать зимой никому не удалось…

Суточный рацион советских военнопленных был [246] гораздо меньше, чем узников других стран, к тому же нас обкрадывали лагерные холуи. Силы катастрофически таяли. Убедившись, что одиночные побеги приводят к большому количеству жертв, каждый про себя решил, что бежать нужно либо всем, либо никому. Для массового побега нужна была подпольная организация, а ее у нас тогда еще не было. В аду под названием Освенцим люди практически не разговаривали, а если и приходилось говорить, речь была вялой и бессвязной. Мозг работал очень слабо. Пожалуй, со стороны мы походили на ненормальных.

За три месяца нахождения в лагере Аушвиц (немецкое название Освенцима) из 13 тысяч советских военнопленных осталось в живых немногим более 3000. Часто из двух-трех бараков немцы перегоняли оставшихся узников в один, а остальные бараки стояли пустыми. Нечеловеческое отношение к заключенным, сильнейшее истощение и неимоверно тяжелый труд вкупе с грязной, потной одеждой спровоцировали эпидемию сыпного тифа. Нас заедали вши, поэтому немцы, боясь широкого распространения этой повальной болезни, решили устроить нам «бани». Со свойственным эсэсовцам «человеколюбием», мытье организовали следующим образом. Узников раздели е бараках догола и погнали — зимой, в мороз — мыться на другой конец лагеря. В «бане» нас ставили на минуту под теплый душ, затем поливали из шлангов холодной водой и снова гнали через весь лагерь в другой, пустующий барак, где была свалена одежда. Одежда была та же самая — грязная, окровавленная, разве что продезинфицированная газами. Такие «бани», а особенно переходы по морозу через весь лагерь обнаженными, [247] мокрыми, приводили к тяжелейшим простудным заболеваниям. Уже на следующее утро многие наши товарищи были мертвы.

В марте 1942 года нас, советских военнопленных, вместе с другими сильно ослабевшими узниками перевели во вновь отстроенные легерные отделения. В Биркенау-1 переводили женщин, в Биркенау-2 — мужчин. К этому времени нас оставалось около полутора тысяч человек.

В первую и во вторую ночь нашего пребывания в Биркенау ударили сильные морозы. Половина наших товарищей умерли от переохлаждения, замерзли во сне. А иначе и быть не могло: стены бараков строились всего в полкирпича толщиной, ни потолков, ни полов не было предусмотрено, не говоря уже о печах. Двухъярусные кирпичные перегородки, каждая на пять человек, вместо постели — рваная шинель… Несмотря на массовую смертность, численность узников сохранялась: с Запада привозили евреев и участников Сопротивления, с Востока — партизан и работников подпольных организаций.

Весна

В апреле мы начали оживать. Работая на осушении болот, мы заметили, что появилось много лягушек, мясо которых оказалось вполне съедобным. В течение нескольких дней все лягушки были съедены.

В это же время неизвестно по какой причине нас перевели на общее питание, и мы, к великому своему удивлению, стали обнаруживать в супах вместе с брюквой картошку и костяную муку. После страшного [248] голода, пережитого зимой, эти нехитрые добавки явились для нас настоящим спасением. Но конвейер смерти не прекращал свою работу ни на минуту. Поскольку в Биркенау переводили самых слабых, смертность была неимоверная. Кроме того, далеко не всем удавалось умереть своей смертью. Ослабевших до потери трудоспособности узников переводили в специально организованные блоки. Когда же больных скапливалось слишком много, их заводили по одному в комнату, отгороженную от остального барака брезентом. Эсэсовцы ставили узника на колени и ударом кирки или лопаты по голове убивали. Тела отвозили в крематорий, а на место казненных прибывали новые, ослабевшие от голода и непосильной работы узники.

В апреле я работал в бригаде, обносившей изгородью отстроенные лагеря. Работа была очень тяжелая, поэтому для нее подбирали здоровых людей. Я был уже слаб, но мой внешне здоровый вид ввел фашистов в заблуждение, и я вынужден был работать наравне со всеми. Мы копали ямы и подносили к ним железобетонные столбы. Столбы были очень тяжелые — 20 человек с трудом переносили их. Надломленные спины ныли, но сгибаться под тяжестью ноши было запрещено. Стоило чуть-чуть согнуть спину, как следовал удар палкой.

Но и после такого, бесконечного и неимоверно тяжелого рабочего дня, отдых полагался далеко не всегда. Как-то после работы нас направили на разгрузку хлеба с машин. От одной буханки неожиданно отломилась корочка и осталась в моей ладони. Осторожно я положил корочку в рот, надеясь, что этого никто не заметит. Но не тут-то было: мгновенно подскочил эсэсовец и начал меня избивать. Он [249] бил палкой по голове, спине, ногам. Вдруг, неожиданно для меня самого, вся злость, скопившаяся в душе за год лагерных издевательств, выплеснулась наружу и пересилила страх перед побоями и даже перед самой смертью. Я ударил эсэсовца и побежал прочь. Сытый фашист быстро догнал меня, изможденного доходягу, повалил наземь и

ногами, обутыми в кованые сапоги, пинал до тех пор, пока я не потерял сознание. Товарищи подобрали меня, принесли в лагерь и положили на землю возле нашего барака. Я долго не приходил в сознание, а когда очнулся, услышал тихий разговор своих друзей: «Вот и Нинки не стало» (Нинка была моя кличка в лагере). Их чувства были мне хорошо известны — к этому времени нас осталось всего 126 человек, и каждая новая потеря переживалась очень тяжело.

За ночь я кое-как отлежался и утром снова побрел на работу, но работать уже не смог, и меня снова избили. Ноги мои сильно опухли, от побоев открылась старая осколочная рана. Идти я не смог, и товарищам пришлось отнести меня на носилках в барак, а на следующее утро устроить в лагерную больницу.

Больницей называлась большая конюшня, разделенная на две половины. В первом отделении — хирургическом — лежали раненые, а во втором отделении — больные с высокой температурой — эти были предназначены для уничтожения. Когда я попал в больницу, у меня тоже была высокая температура. Спас меня один польский врач, ударом кулака указав место в хирургическом отделении, хотя мне предписывалось остаться среди смертников. Врач не мог мне объяснить свое «негуманное» поведение, [250] так как за его спиной возвышался эсэсовец. Но удар я выдержал, и это решило мою участь.

Вскоре мне сделали операцию по извлечению осколков, а заодно и выкачку из раны. Врач, оперировавший меня, сразу предупредил: если температура 38 градусов и выше продержится больше двух дней, меня переведут в седьмой блок — блок слабых, а это прямой путь в крематорий. Лежа на нарах на третьем ярусе я «регулировал» свою температуру. Когда мне приносили термометр, я честно вставлял его в подмышку и следил, как поднимается ртуть. Стоило ей достичь 37 градусов, я откладывал термометр в сторону.

После операции я быстро пошел на поправку, хотя условия жизни, казалось бы, этому не способствовали. Дневная норма хлеба для больных узников была меньше, чем для работающих; еще хуже обстояла ситуация с водой. Ее было мало, а пить хотелось постоянно. Если бы не поддержка товарищей, многие из нас просто не выжили бы. Приходя с работы, узники получали свою дневную норму, и каждый стремился часть ужина оставить больным товарищам, а воду приходилось воровать из бочек около кухни. Но передать больным пищу и воду было куда сложнее, чем раздобыть их. Больничные бараки хорошо охранялись, и здоровым заключенным вход в них был воспрещен. Сначала

нужно было узнать, где находится больной товарищ. Для этого приходилось простукивать палкой стены барака, выясняя, кто где лежит. Окон в бараке не было. Итак, местонахождение товарища определено, теперь нужны только смелость и находчивость. Рискуя жизнью, человек с котелком воды или супа быстро проскакивает в барак мимо охранника; еще быстрее [251] отыскивает товарища и передает тому котелок. Затем бежит через весь барак, лавируя меж нарами и стараясь не создавать лишнего шума, к противоположным дверям, где стоит еще один охранник. Мимо него нужно быстро проскочить. Если замешкался и попался в руки охранников — жестоко избивают.

Таким же способом носили еду товарищам, находящимся в бункере штрафников. Штрафников посылали на самые тяжелые работы, а на ночь закрывали в особые камеры: в одних можно было только лежать, в других сидеть, в третьих стоять. Кормили наказанных еще хуже, чем больных.

В связи с наступлением Советской армии на фронте, наше положение несколько улучшилось. Перевод на общее питание помог нам прийти в себя; мы немного окрепли физически, незначительно, но все-таки снизилась смертность, хотя побои продолжались с прежней силой. Получив передышку, мы начали готовиться к массовому побегу.

Побег

Когда я вышел из больницы, товарищи устроили меня работать в прачечную: там было сравнительно легче. Зарождение подпольной организации, разработка плана побега — все это проходило здесь, прямо на «рабочем месте». Собираться в прачечной было очень удобно: во-первых, здесь работали исключительно советские военнопленные, а во-вторых, гитлеровцы, напуганные тифозной инфекцией, нечасто подходили к нашему «муравейнику».

К августу 1942 года нас осталось всего 120 человек. Это была дружная и спаянная семья. Советские [252] военнопленные теперь имели авторитет у узников из других стран, даже эсманы нас побаивались, а если и били, то только поодиночке. Вместе мы были грозной силой. С каждым днем росли масштабы нашего неповиновения врагам, вскоре и пленные других национальностей стали присоединяться к нам. Командование лагеря встревожилось и решило принять экстренные меры, при этом оно отлично понимало, что в случае массового расстрела военнопленных на территории лагеря, русские непременно окажут серьезное сопротивление, а к ним присоединится и вся двухсоттысячная армия узников лагеря.

Следовательно, от русских нужно было тихо избавиться где-нибудь за территорией лагеря. Наконец эсэсовцы придумали такой способ: под видом обычного похода на работу привести нас на участок бань-газокамер, находившийся в двух километрах от лагеря, и там уничтожить несговорчивых пленников. Эти камеры были только что выстроены, и фашисты думали, что о существовании и тем более о назначении этих «бань» в лагере никто не знает. Камеры еще только проходили испытания, и первыми жертвами предназначалось стать советским пленным. Но, во-первых, об этих «банях» мы уже слышали, а во-вторых, накануне предполагаемых «испытаний» к нам в барак была подброшена записка: «Русские, будьте осторожны: вас хотят убить». Мы разгадали замыслы врага и решили устроить побег во что бы то ни стало. Даже если нас будет сопровождать отряд, равный нам по численности. В это время мы уже обзавелись ножами и другим холодным оружием. Неожиданно немцы отказались от этого варианта казни. [253]

Но через несколько дней в бараке снова очутилась предостерегающая записка: «Русские, будьте осторожны». Оказывается, немцы придумали новый план нашего уничтожения. Под видом дезинфекции одежды нас раздели догола и хотели

вывести из лагеря в чем мать родила, лишив возможности пронести с собой оружие. Но в прачечной работали свои, и мы успели перед выходом одеть всех заключенных. Правда, напасть нам в тот день так и не пришлось. Утром, во время поверки, эсманы и виду не показали, что удивлены, увидев нас одетыми. А мы еще раз убедились в коварстве врагов.

Потом нам передали, что всех русских хотят перевести в блок смерти центрального лагеря Аушвиц. Сначала мы обрадовались, решив использовать перевод для массового побега, но затем узнали, что поведут нас не всех вместе, чего требовал наш план, а бригадами, причем прямо с работы. В этом случае побег был невозможен. Не теряя времени, мы стали проводить подготовку к освобождению всего лагеря; договаривались с иностранными узниками, особенно с поляками.

Неожиданно наши планы были нарушены. Польская бригада в количестве 150 человек, работавшая на копке канав под канализацию, устроила побег. Ввиду неорганизованности побег не удался. Причем беглецов ловили не только фашисты, но и заключенные, мечтавшие этим заслужить себе свободу. Они не знали, что благодарность к предателям не входит в список фашистских добродетелей: добровольных «помощников» вместе с беглецами поместили в бункер смерти. Ночью эсманы расстреляли тех, кто оказывал сопротивление, а остальных [254] задушили газами. Когда поляков повели на смерть, они запели свой гимн.

Потерпев неудачу с объединением всех заключенных лагеря, мы решили подготовить общий побег своими силами. В это время началось строительство следующей зоны около Биркенау, и многие партии военнопленных направлялись туда. В соответствии с лагерным стандартом, зона уже была ограждена, только с юго-восточной стороны был оставлен проезд для завоза стройматериалов. К концу рабочего дня, как обычно, на площадке лежало много убитых и раненых. Смерть стала неотъемлемой частью нашей лагерной жизни, мы привыкли к ней, а она к нам. Мы верили, что наше дело правое, а в таком случае даже смерть приходит на помощь. Случалось, что избитые заключенные, дабы избежать дальнейших побоев, заползали под стройматериалы и зачастую умирали там. Обычно на розыски посылали бригаду, в которой числился пропавший, а остальные узники стояли в строю до окончания поисков. Охрана не снимается с вышек до окончания поверки. Этим заведенным раз и навсегда порядком мы и решили воспользоваться.

В намеченный день советские военнопленные, работая в сводной интернациональной группе, спрятали под

стройматериалами убитого фашистами узника из соседней бригады. Во время поверки, естественно, человека хватились и послали на поиски его бригаду. Те искали долго, но безуспешно. Тогда пойти на поиски вызвались русские. Фашисты согласились, но с одним условием: если мы его не найдем, все получим по 25 ударов палками — таков был лагерный порядок. Зайдя в рабочую зону, мы быстро вооружились лопатами и палками, затем [255] растянулись цепочкой по зоне и начали усердно «искать», медленно приближаясь к проходу в колючей проволоке. Но побег опять не состоялся: во-первых, мы проявили нервозность, во-вторых, о побеге знали не все. Когда часть группы, знавшая о побеге, начала приближаться к проему в колючей проволоке, фашистам легко было их отогнать. Пришлось незаметно подобрать спрятанный труп и вернуться в строй. В бараке мы провели серьезный анализ своих ошибок и начали готовиться к новому побегу.

Через несколько дней мы снова запрятали труп. Как только пропажа обнаружилась, нас сразу послали на поиски, мол, русские очень хорошо ищут. Вооружившись палками и лопатами, мы медленно двигались по территории, дожидаясь наступления темноты. Как и в прошлый раз, пройдя до конца зоны, мы собрались в ее левом углу. Охрана уже намеревалась отвести нас в жилую зону, как вдруг со стороны крематория появились одна за другой четыре бригады зондеркоманды, каждая по 25 человек. Эти бригады формировались из высоких и физически сильных лагерных новичков. Они занимались обслуживанием крематориев: сжигали тела умерщвленных в газовых камерах, а также раскапывали братские могилы и сжигали трупы людей, убитых еще до построения больших крематориев. С членами этой бригады, что называется, не церемонились: стоило человеку ослабеть, как его тут же отправляли в печь.

От 3-й по счету бригады, не дошедшей до нас метров 100, неожиданно отделился человек — это было не побегом, скорее самоубийством. Его пристрелили на ходу, а бригаду погнали дальше. Эсман, [256] убивший этого человека, подошел к старшему нашего конвоя и попросил дать ему трех человек — донести труп до лагеря. Конвоир был не против и предложил эсэсовцу самому выбрать «носильщиков».

Дальше все происходило быстро, почти как в кино. Эсман тычет дулом автомата то в одного, то в другого узника, но те прячутся за спины своих товарищей, так как знают, что через несколько минут свершится то, о чем все так давно мечтали, — побег. Эсман показывает на следующих — те снова прячутся. Взбешенный палач что есть силы бьет одного нашего товарища,

но неожиданно получает такой удар в голову, что не может устоять на ногах. Эта стычка послужила сигналом к действию. С палками и лопатами заключенные набросились на охрану и моментально перебили ее. Наш удар был настолько неожиданным, что никто из врагов даже выстрелить не успел.

Покончив с эсэсовцами, мы, 70 человек, с криком «Ура!» побежали за зону лагеря, будто и не убегали, а наступали на противника. Этот «крик души» только помешал нам: не успели мы отбежать на достаточное расстояние, как в лагере эсэсовцев, примерно в километре от нас, была объявлена тревога. Через пару минут мы услышали приближающийся гул автомашин. Из всех бежавших я был, наверное, самым слабым — прошло всего полмесяца после выписки из больницы, и я сильно хромал. Бежать нам нужно было строго на юго-восток, так как справа находился эсэсовский лагерь, а сзади и слева — зоны.

Побег помню до мельчайших подробностей, как будто это было вчера. Помню, пробежав метров [257] триста, неожиданно налетаю на палача, своими руками убившего не одну сотню, а может, и тысячу советских граждан. Он, держа пистолет наготове, ведет перед собой двух пойманных беглецов — Александра Алтухова из Тамбова и еврея с Западной Украины, который находился в нашем лагере в качестве военнопленного, водя за нос лагерное начальство. Теперь палач ведет в лагерь уже троих. Алтухов громко кричит: «Что вы делаете? Зачем сами идете на смерть!», а мне тихонько шепчет: «Нинка, бежим». Впереди в сгущающихся сумерках замаячили две сосны, выросшие из одного корня. Прикинув возможность попадания из пистолета по движущейся цели, метров за 15 до деревьев делаю рывок налево и скрываюсь за стволом. Товарищи бегут направо. Не знаю, сколько я пробежал, но стало заметно темнее. Вижу, невдалеке высятся сторожевые вышки. О них мы не знали. Пробегаю между ними, пытаясь не попасть под пулю. Бегу дальше.

Наконец, очутился я на болоте, поросшем высоким камышом. Слышу голоса, передвижение нескольких групп людей. Хочется с кем-нибудь соединиться — направляюсь к ним, а они сразу притихают. Иду к другим — тоже боятся меня. Тогда, проваливаясь по колено в трясину, иду вперед сколько хватает сил. Попадается небольшая речушка, с трудом преодолеваю ее. Иду дальше, опять речушка. Попытался перейти и ее, да не смог забраться на противоположный, заросший ивняком берег — слишком уж крутой. Тут справа слышу собачий лай. Лай приближается, оставаться в кустах нельзя. Имея опыт службы на границе, знаю, что в [258] первую очередь будут искать там, где можно спрятаться.

Кое-как выхожу из речки и вижу насыпную дорогу, уже освещенную с двух сторон прожекторами. Все ближе и ближе слышен собачий лай и отрывистый немецкий говор. Делать нечего. С риском для жизни переползаю насыпь и вижу развалины какого-то хутора. От насыпной дороги, справа и слева от меня, к хутору идут две канавы со сточной водой. Ползу по направлению к развалинам, а собаки добрались уже туда, где я переползал дорогу. Нужно прятаться. В канаву не иду, так как по ней вполне могут пустить собак.

Тут за моей спиной, совсем близко, остановились несколько солдат с собаками. Я лежу, жду, что с секунды на секунду собаки найдут мой след, настигнут и разорвут на клочки. Но в то же время, по небольшому опыту работы со служебной собакой, знаю, что собака находит след, только когда ее не отвлекают. А тут солдаты кричат, цепи гремят, другие собаки лают.

Потом я услышал какую-то команду, и по обеим канавам к хутору зашагали два солдата с собаками; остальные направились к дамбе. Я посмотрел, как, дойдя по канавам до бывшего хутора, фашисты бродят по развалинам с фонарями и вроде бы не собираются в скором времени возвращаться назад, затем по еле заметной тропинке пересек картофельное поле и пошел дальше. Неожиданно в тишине раздался глухой кашель. По нашему уставу, солдат, находясь в секрете, кашлять не имеет права. Делаю вывод: кашляет кто-то из наших. Снова слышу кашель и иду на этот звук уже гораздо смелее. Вдруг впереди, метрах в пятнадцати от меня, [259] раздается окрик: «Хальт!», тут же с рычанием бросается в мою сторону овчарка. Я разворачиваюсь, бегу, фашист пару раз стреляет вслед. Бегу и думаю: «Почему он не спустил собаку?». Бегу, бегу, пока не падаю от усталости.

Отдохнув немного, пошел я в другую сторону, приблизительно на север, но снова неподалеку послышался собачий визг. Пополз. Визг все ближе. Вернулся назад и двинулся по диагонали — между первым и вторым направлениями. Метров через 400 вижу барак, хорошо освещенный изнутри. В окно видно, как солдат-дневальный ходит взад-вперед по комнате. Неподалеку от барака я нашел сарайчик, где и решил спрятаться — под самым носом у врага. В сарае нашел полено, встал с правой стороны двери, жду непрошеного гостя. Мокрый с ног до головы, только сейчас стал я ощущать холод.

Минут через тридцать-сорок слышу: по цепи раздается команда «антрейтен» — строиться. Смотрю, выстроились около барака в колонну по три солдаты с собаками и направились, видимо, в лагерь СС. Подождав немного, я осторожно вышел из сарая и пошел на станцию, откуда слышались паровозные гудки.

Хотел подойти к станции до восхода солнца, чтобы никого не встретить по дороге, но не удалось. Я видел людей, люди видели меня, а с одним мужчиной и вовсе столкнулся нос к носу.

В железнодорожном тупике около небольшого склада нашел я вагон-коробку. Залез в него, считая, что если вагон исправный, меня увезут, если нет — хотя бы отсижусь до темноты. Примерно через час совсем рядом с вагоном слышу разговор на немецком и польском языках — на складе приступили к работе. Вечером, когда все уже стихло, вышел из [260] вагона. Озираясь по сторонам, пошел я к железнодорожному составу и влез на тормозную площадку вагона. Оставалось только ждать, когда тронется поезд. Вот раздался резкий свисток паровоза, и поезд поехал на восток. Позади остались освещенные кварталы лагерей Биркенау и Аушвиц. Мои мысли невольно с теми, кто остался в застенках лагерей смерти.

Утомленный, измученный, убаюканный монотонным стуком колес, я и не заметил, как уснул. Сколько я проспал, не знаю, но вдруг почувствовал, что состав остановился. Не дожидаясь, когда он пойдет снова, я пересел на следующий поезд, двигающийся в том же направлении. Затем еще на один и еще…

Снова в плену

На одной из станций поезд остановился. Видимо, я задремал, потому что не слышал, как к вагону подошли два проводника. Они хотели перейти через тормозную будку и заметили меня. «Кто там?» — спросил по-польски один из них. Я молчал, не зная, что сказать. Перед моими глазами снова пронеслись ужасы, пережитые в лагерях Освенцима.

— Откуда ты? — тихо переспросил он.

— Утек из Освенцима, — так же тихо ответил я.

В моем тоне сквозило доверие, но мысль лихорадочно твердила одно: «Бежать, и как можно скорее». Но как? Их двое, я один. Стоит мне только дернуться, как они поднимут тревогу. Поляки немного пошептались между собой, затем сказали: «Почекай трохи», и один из них быстро пошел вдоль состава к паровозу. А что, если убежать сейчас, пока [261] он один? Я смотрел на поляка и гадал, поднимет он тревогу или нет. Сильнейшая усталость и голод вдруг навалились на меня, накрепко приковав меня к месту. Не прошло и пяти минут, как возвратился первый проводник. Охранников с ним не было, и я немного успокоился. К моему изумлению, поляк вдруг сует мне в окошечко четыре горячих картофелины. «Следующая станция будет на немецко-польской границе, могут проверить вагоны, — говорит он. — Спрячьтесь получше и сидите тихо». На душе у меня потеплело. Вскоре состав двинулся в нужном мне направлении.

Не знаю, сколько раз я пересаживался с поезда на поезд. Но помню, как однажды проснулся я на рассвете от теплого, уютного коровьего мычания, доносившегося из соседнего вагона. Я встревожился: коров в Россию немцы не повезут, значит, состав идет в Германию, нужно немедленно менять направление. На первой же остановке пересаживаюсь в поезд, идущий в противоположную сторону и наутро оказываюсь на какой-то маленькой станции. Поезд расформировывают, попутных составов нет, а меня, в раме под цистерной, могут обнаружить в любую минуту.

Я осторожно выглянул из-под цистерны, чтобы осмотреться, и тут меня заметили. Какие-то люди окружили вагон, вытащили меня из-под цистерны и под вооруженной охраной отвели в участок. На груди у моих конвоиров красовались значки со свастикой, и я понял, что снова попался.

В участке, куда меня привели, за столом сидел немецкий офицер с эсэсовскими знаками отличия. Начался допрос.

Спросили, кто я и откуда. Я назвал первую пришедшую мне на ум фамилию — Иван [262] Филиппенко, сбавил возраст и выдал себя за украинца, моим местом жительства стала станция Попельна в Житомирской области. Не задумываясь ни на минуту, рассказал, что полгода назад был привезен в Германию, работал у хозяина, но из-за жестокого обращения и плохого питания сбежал.

— Как фамилия хозяина? — спросил немец.

— Не знаю, он мне ее не говорил, — бойко ответил я.

— В какой деревне жил?

— Не знаю. Я работал с утра до ночи, а на ночь хозяин запирал меня в сарай, — гнусавил я.

— А сколько у твоего хозяина было коров и лошадей?

— Коров 10, лошадей 4…

После допроса меня закрыли в подвале. На следующий день снова вызвали наверх: те же вопросы, те же ответы. Тогда, чтобы хоть как-то проверить мою скудную биографию, повели меня к старикам-немцам, в 1914–1917 годах воевавшим на Украине. Мы поговорили, и немцы подтвердили, что я действительно украинец, так как понимаю польскую речь. Мне это было на руку. Потом снова допрос — выясняют, кто же был мой хозяин, чтобы проверить, действительно ли я оттуда сбежал. Так ничего и не добившись, меня отвели в тюрьму, посадили в одиночную камеру.

Снова допросы и снова, изо дня в день, отводит меня на них один и тот же полицейский. Я был одет в синий комбинезон, что ровно ни о чем не говорило немцам — в ту пору у многих были такие комбинезоны, но шапка была у меня по-настоящему лагерная, полосатая. Я вывернул ее наизнанку еще в ночь побега из Освенцима, и теперь она походила [263] на обычный берет. Но я решил подстраховаться и перед каждым допросом складывал его вчетверо и засовывал в карман. «Мой» полицейский это заметил.

— Дайте-ка мне ваш головной убор, — на очередном допросе приказал офицер и иезуитски осклабился.

Я вытащил из кармана свою «беретку». Эсэсовец, повертев в руках подозрительный предмет, вдруг рявкнул:

— Признавайся, с какого лагеря сбежал?

— Ни с какого, я убежал от хозяина. — Я продолжал стоять на своем.

Тогда тюремщики тщательно осмотрели мою одежду. Разглядели на ней едва заметные следы краски, которой в концлагере писали буквы SU (Советский Союз) на одежде наших военнопленных. Спросили, где взял одежду, я снова сослался на несуществующего «хозяина»: мол, он мне ее и выдал. Теперь эсэсовцы набросились на моего многострадального

«работодателя» — наверняка этот человек принимает у себя бежавших военнопленных.

Осмотрев одежду, принялись за меня: нет ли на теле следов лагерных побоев. Но в последнее время я работал в больнице и в прачечной, и синяки успели сойти. Увидев рану на ноге, фашисты насторожились, но я заверил их, что рана не «военная», мол, недавно сделали операцию. Лагерный номер, вытатуированный на груди, я незаметно закрывал большим пальцем. Так и не сумев мне ничего инкриминировать, сильно избили. Сказали, что будут бить до тех пор, пока я не назову имя своего хозяина. Следующие дни: допросы, побои… Не мог же я им сказать, откуда сбежал на самом деле! [264]

После очередного допроса меня отвезли в карательный лагерь, куда за провинности сгоняли узников самых разных национальностей. Поселили в 13-ю комнату к украинцам — в этом лагере каждая нация жила отдельно, а я ведь выдал себя за жителя Украины. Мне указали койку, выдали даже матрац и одеяло, и вдобавок ко всему — чайный и столовый приборы, рюмку и стакан. Ну, думаю, в хорошее место я попал, такого я еще ни в одном лагере не видел; а раз есть посуда, значит, будет и еда.

В лагерь привезли меня уже вечером, и в камере я застал такую картину. Все мои новые товарищи сидели за столом, ждали поверку. Вдруг снаружи раздался свист, все вскочили с мест и встали поближе к двери — это была подготовка к поверке и ужину. Затем прозвенел звонок. Резко сорвавшись с места, заключенные бросились на улицу и выстроились в шеренгу по пять человек. Строились долго, шумно, суматошно, трудно было понять, кто и куда должен встать. После построения начался порядковый расчет, причем свой порядковый номер нужно было называть по-немецки. Путались часто. Виновный получал плеткой по голове, всех загоняли в бараки, и все начиналось сначала — построение, расчет. После удавшейся поверки загнали в барак. Затем новое построение — уже на ужин. Люди устремились к еде, снова образовалась свалка, кто-то налетел на термос с супом и обварил себе ноги… Не дав поесть, снова загнали в барак, новое построение. И так до тех пор, пока наши мучители не насладились зрелищем. Затем и мы получили свой ужин. Он состоял из пол-литра супа из репы и куска хлеба. Не успели мы, поужинавшие, но по-прежнему голодные, войти в свою комнату, как раздался [265] звонок на вечернюю поверку. Повторилась та же картина.

Наконец отбой. Измученные тяжелой работой и бесконечными построениями, узники начали засыпать. Снаружи

закрыли ставни, заперли дверь на замок, камера погрузилась во тьму. Не прошло и десяти минут, как двери снова распахнулись. В камеру, светя электрическими фонариками, вошли тюремщики и стали проверять, все ли на месте, не спит ли кто в одежде (спать полагалось голыми), чисты ли у заключенных ноги (на чистоту лица и рук внимания не обращалось). Обошли всю камеру и придрались к одному из наших товарищей — ноги у него оказались грязными. Всех тут же подняли с постели и погнали по лагерю — голыми и босыми — мыть ноги. Мытье сопровождалось ударами плетей. Затем по грязной земле босыми ногами мы пошли обратно в барак. Теперь ноги у всех оказались грязными, и нас опять погнали их мыть. Наконец, разрешили лечь спать.

Рано утром — подъем, спешная уборка помещения, пока дежурные бегают за чаем. Быстро пьем кипяток и снова на улицу, на утреннюю поверку. Построение, как всегда, повторилось несколько раз. Только после того, как нам, наконец-то, удалось быстро построиться, начали по списку выкликать на работу. Названные работники проходили сквозь строй — солдаты стегали их плетками. Чтобы получить меньше ударов, требовалось мобилизовать всю свою ловкость и быстроту.

Работали на строительстве: переносили трубы, разгружали вагоны, рыли котлованы. Так прошло пять дней. На шестой день меня на работу не вызвали, но я решил не оставаться в лагере и присоединился [266] к товарищам. В этот день, после окончания обычного трудового дня, нас заставили срочно разгружать вагон с гравием. В 15 минут, отведенные на разгрузку вагона, уложиться мы, естественно, не успели, за что были избиты.

По пришествии в барак товарищи огорошили меня известием о том, что меня искал дежурный по лагерю. Все во мне оборвалось: вдруг начальство узнало, что я сбежал из Освенцима? Тем временем раздался звонок на поверку. Мы вышли, а вернувшись, увидели на столе стакан. Ребята уже знали, что за этим последует. Вскоре узнал об этом и я. После ужина и вечерней поверки к нам вошел начальник лагеря, обер-ефрейтор СС и объявил, что, поскольку в комнате № 13 обнаружен грязный стакан, все украинцы в течение трех часов будут заниматься гимнастикой. Гимнастика была особенной. Вначале нас бегом гоняли вокруг барака, затем заставляли прыгать, ходить гусиным шагом и ползать на четвереньках. Нерасторопных погоняли прикладом и палкой. «Занимались» мы до тех пор, пока часть узников не попадала от усталости. Тогда нам дали несколько минут отдыха и снова повторились «упражнения». Когда, окончательно обессилев, мы уже не могли двигаться даже под ударами палок, нам была объявлена «амнистия». Теперь мы

могли лечь спать.

На следующее утро меня снова не вызвали на работу, и я вынужден был остаться в лагере. Целый день мы пилили дрова, а вечером меня вызвали на допрос. На столе у следователя лежало много разноцветных бумаг — протоколы моих прежних допросов. Спрашивали и били меня двое, по очереди. Я талдычил одно и то же: где мой хозяин, я не знаю, [267] как к нему попала лагерная одежда, не имею понятия… Я стойко все отрицал, но, похоже, враги мне не верили. Несмотря на то что на допросе меня били достаточно долго, фашистам все было мало. Желая еще раз ударить меня напоследок, следователь «проводил» меня до двери. Разгадав его намерение, я шел спиной вперед, чтобы, в случае удара, успеть заслониться руками, и в тот момент, когда фриц замахнулся, я с силою захлопнул за собой дверь, ударив ею следователя по лицу. Тот догнал меня уже на улице и бил плетью по голове до самого барака.

На следующий день я кое-как доработал до вечера. А вечером нас снова ждала гимнастика: ребята насобирали где-то окурков и скрутили из остатков табака одну-единственную цигарку, которую, после того как нас закрыли, закурили в комнате. На наше несчастье, вскоре пришли эсэсовцы, проверять чистоту наших ног, и унюхали запах табачного дыма. Наказание — общая гимнастика. Теперь уже я не мог ни ходить, ни работать.

После десяти дней таких мучений меня перевезли в Хвудобрек — небольшой лагерь для военнопленных с железнодорожной станцией и паровозоремонтным заводом. Работали на разгрузке каменного угля, стройматериалов и погрузке паровозных тендеров. На мое счастье, в этом лагере содержались и советские военнопленные, мне было легче освоиться и было с кем поговорить. Товарищи рассказали мне, что в лагере нужны специалисты для ремонта паровозов, и я решил выдать себя за электрика — разгружать вагоны я бы уже не смог. С электриком я просчитался — они здесь были не нужны, но зато я оказался в бригаде ремонтников, [268] где уже работали шесть слесарей-немцев. С первым же заданием — снять тормозную колодку с паровоза — я не справился. Я даже не знал, с чего начать. Пытался выбить цилиндры, побольше попадал молотком по пальцам, чем по зубилу. Немцы посмотрели на мою работу, посмеялись и решили использовать меня на подсобных работах. Вскоре в нашу бригаду определили еще одного русского парня, до войны работавшего трактористом в колхозе.

Иногда во время обеденных перерывов немцы расспрашивали нас о жизни в России. Я рассказывал им все, не считаясь с лагерной цензурой. Когда наш пожилой бригадир, у которого уже

и зубов-то не было, услышал, что у нас старики не работают и получают пенсию от государства, он не поверил своим ушам. Мой напарник, боясь хвалить жизнь в Советском Союзе, говорил, что все у нас, наоборот, очень плохо. «Кому же из вас двоих верить?» — спрашивали немцы. «Мне надо верить, — отвечал я, — он просто боится правду говорить», «Так и ты не говори так откровенно, а то повесят тебя», — советовал мне один из слесарей по фамилии Плюта.

Однажды наш мастер получил извещение, что его сын погиб под Сталинградом. Немцы целый день ходили хмурые, а под вечер стали обвинять нас в случившемся. Я объяснял им, что война никому не приносит счастья. «Вы напали на нас, а мы просто защищаем свою землю». Наконец, они согласились, что война никому не нужна, и спросили: «Так кто же победит в этой войне — Россия или Германия?» Я ответил, что победить должна Россия, так как она ведет войну освободительную, справедливую; [269] напомнил им, что Россия за всю свою историю не проиграла еще ни одной войны.

Несмотря на то, что я без обиняков говорил неприятные для них вещи, немцы уважали меня больше, чем тракториста. Призывали меня не высказывать вслух мысли, за них могут повесить; часто отдавали мне свои талоны на суп, который был несравненно лучше той бурды, которой кормили пленных. С каждым днем я становился сильнее, набирался сил. Пришла весна, и я решил бежать, тем более что условия для этого здесь были более подходящими, чем в Освенциме.

Новый побег

9 мая 1943 года я и еще трое товарищей убежали, предварительно запасшись продуктами и зажигалками. Курс взяли на юго-восток, к Карпатским горам. Передвигались очень осторожно, только по ночам, стороной обходя населенные пункты. Днем прятались от людей высоко в горах. Дня через три наши скудные съестные запасы иссякли, тогда на бывших колхозных полях мы обнаружили только что посаженный картофель, который выкапывали руками и ели. За счет картошки мы продержались еще дней 15, затем клубни в земле проросли, начали гнить и стали непригодными для еды. А есть было нужно.

Как-то поздним вечером мы, четверо беглецов, в нерешительности остановились на окраине села. Голод гнал нас к людям, а страх потерять свободу удерживал нас за околицей. Победил голод. Посоветовавшись, решили мы зайти в крайнюю хату, где светился огонек. Пошли вдвоем, на всякий случай [270] приготовили ножи. Осторожно зашли во двор, слышим, в хате мирно разговаривают. Мы постучали в дверь, нам тут же отворили. Увидев нас, хозяева сначала испугались, но когда узнали, что мы русские, были в плену и теперь возвращаемся на родину, без лишних слов накормили картошкой и молоком. Хлеба у них было мало, но последний кусок его отдали нам. Мы отказывались, хозяин нас уговаривал: «Берите-берите, у нас есть картошка и молоко. Я ведь тоже был в плену у вас в России, нас хорошо кормили». Потом хозяин показал нам дорогу и предупредил об опасных участках. Мы поблагодарили добрых людей за пищу и поспешили накормить своих товарищей.

После такого радушного приема мы не раз заходили в дома бедняков, и нам никогда не отказывали. Так мы дошли до польской границы. Там, переходя вброд небольшую речку, мы наткнулись на охрану. Нас обстреляли. Прячась от пуль, мы кинулись врассыпную, а когда стрельба затихла, я уже не смог найти своих товарищей. Оставшись один, я стал идти днем. Заходил в населенные пункты, в самые бедные дома, и меня там кормили, предупреждали об опасностях пути. Вскоре раненая нога сильно разболелась, я не мог идти дальше. К вечеру я доковылял до какой-то деревни и зашел в крайний дом. Хозяин-поляк отнесся ко мне с участием — в 1939 году он сам побывал в немецком плену и знал, что это такое. Хозяин спрятал меня на сеновале, но, поскольку деревня находилась неподалеку от железнодорожной станции и специального тоннеля для правительственных немецких поездов под усиленной охраной СС,

долго держать беглеца в своем доме хозяин не мог. Узнав, что из-за сильной [271] боли в ноге я не могу идти, он посоветовал мне сесть на поезд, причем не доходя до станции, на повороте, где из-за подъема поезд сбрасывает скорость. Туда он меня и проводил.

К сожалению, залезть в поезд на ходу я не смог и, попрощавшись с хозяином, поплелся к станции. На подходе к станции, увидел я деревянный навес и решил под ним подождать, когда тронется первый состав. Меня заметили. К навесу подошли двое, но не решились зайти внутрь. «Как будто кто-то прошел?» — по-польски проговорил один из подошедших. Второй промолчал. Постояв немного, они повернули обратно. Вскоре тронулся состав, я запрыгнул на тормозную будку и поехал. Провожая меня к поезду, хозяин предупредил, что через три станции находится военный объект. Нужно было сойти, не доезжая до него, но поезд нигде не останавливался. Перед самым объектом вагоны замерли. Только собрался я соскочить на землю, как услышал грубый окрик: «Хальт!» («Стой!»). Я спрыгнул по другую сторону вагона и побежал вдоль поезда. Часовой, по свою сторону состава, за мной. Деревянные лагерные колодки громким стуком выдавали меня. Тогда я присел за колесом вагона и стал наблюдать за своим преследователем; как только он пробежал мимо меня, я рванул вправо, в сторону населенного пункта. Солдат услышал мой топот и с криком «Хальт!» выстрелил мне вслед. У самого населенного пункта я заметил на шоссе двух мужчин. Зная, что польские деревни по ночам охраняются патрулями из местного населения, я залег неподалеку от дороги. Место было ровное, и они наверняка заметили меня, но подходить не стали. Перекинувшись парой фраз, просто пошли дальше. Когда [272] между нами образовалось расстояние метров в пятьсот, я пересек дорогу и вошел было в село, но на окраине внезапно столкнулся с молодым парнем. От неожиданности мы оба испугались и бросились в разные стороны. Так я покинул село, даже не войдя в него.

На окраине села текла речка, и я решил перейти ее вброд. Вошел в холодную воду по грудь, почувствовал, что сильное течение начинает меня сносить, а ноги сводит судорогой. Кое-как вылез из воды и пошел вдоль берега. К рассвету нашел лодку и переплыл на другую сторону. Дальше идти не смог, вынужден был спрятаться — двое суток провел в хлебах, затем тихонько побрел дальше. Страшно хотелось есть и не менее страшно — пить. Я зашел в один из домов, где встретил меня один хмурый хозяин. На ломаном украинском я спросил у него дорогу, но он тут же задал мне встречный вопрос:

— Вы с Украины?

— Да, — ответил я.

— Вы в 1959 году убивали польских военнопленных, которые шли из России! — громко закричал он.

— Мы никого не убивали, — возразил я, пытаясь успокоить его.

— С какой вы Украины: с восточной или с польской? — задал он новый вопрос.

— Я с Харькова…

— Ваше счастье, что вы оттуда. Если бы вы были с польской, живым бы я вас отсюда не выпустил. На польской Украине убили моего брата, возвращающегося из плена.

Выйдя от него, я решил больше не представляться украинцем, а честно говорить, что я русский. Шел я на восток, и вскоре начали мне попадаться [273] деревни то с польским, то с украинским народом. Поляки говорили, что мне нечего бояться на польской земле — поляки добрые люди, а стоит мне попасть на Украину, как тут же буду выдан немцам. Украинцы говорили все с точностью до наоборот. Чувствовалась работа бывшего польского правительства и немцев, неустанно разжигавших национальную вражду между поляками и украинцами. В населенных пунктах, где до войны мирно уживались вместе и поляки, и украинцы, царила ненависть. В тех деревнях, где преобладало польское население, хаты украинцев стояли пустыми, а кое-где и сожженными. И наоборот.

Когда я попал на Украину, которую тогда называли Галитчиной(или Галицией), украинцы удивлялись, как я прошел через Польшу, ведь поляки выдают немцам всех, кто проходит по их территории. «По Украине вам будет легче пройти, — говорили они, — мы ведь почти свои люди».

Меня предупредили, что граница между Галицией и Волынью очень хорошо охраняется, и посоветовали район, где легче ее перейти. Дойдя до деревни Гайки, я зашел в один дом, где мне не только разрешили пробыть до вечера, но и, когда прошли дозорные, проводили меня до границы. Следующая деревня на моем пути — Гайки-Дядьковецкие, уже в Волыни. У крайнего дома я встретил женщину, и она пригласила меня войти в дом. Там уже сидели три парня и девушка — беженцы, они бежали из-под Кракова во время перевозки рабов в Германию. Приготовив ужин, хозяева пригласили и нас. Вижу, ребята, прежде чем сесть за стол, крестятся на образа в углу, а я сижу и думаю: что делать? Креститься я не привык, а не перекреститься — вдруг обижу [274] хозяев. Встаю, и тоже начинаю креститься, краснея от стыда; даже пот прошиб. Потом сел я за стол и, не глядя ни на кого, начал есть. Так первый раз в жизни пришлось мне перекреститься.

По Украине

Наутро мы вышли в путь впятером, хотя передвигаться такой большой группой было опасно — слишком бросались в глаза. Через три дня пути на подходе к одной деревне мы услышали выстрелы. Смотрим: суматоха, запряженные подводы, вокруг них суетятся какие-то люди. Потом мужчины садятся по 4 человека на подводу и уезжают. В деревне остаются лишь старики, женщины и дети. Нас хорошо кормят, отводят ночлег.

После ужина в дом, где мы расположились, стали собираться люди порасспросить нас о том о сем. Один говорливый старик начал агитировать ребят вступить в их партизанский отряд. Я-то сразу понял, что это бендеровцы, а мои наивные товарищи чуть ли не готовы были остаться с ними. Ночью, когда все разошлись, я объяснил попутчикам, что это за люди и за что они воюют, и рано утром, стараясь не разбудить хозяев, мы ушли из деревни. В этот же день наша группа распалась — нам было не по пути.

Но один я шел недолго: через несколько дней встретились мне двое мужчин, таких же беглецов, как и я. У них были документы, и даже один лишний — его отдали мне. Теперь я шел, стараясь зазубрить свои новые данные: Хоменко Михаил Иванович, 1883 года рождения, уроженец села Петривцы, Миргородского района Полтавской области. Вскоре мы нарвались на заставу и, спасаясь от [275] пуль, разбежались в разные стороны. Я снова остался один, но теперь хотя бы с документом…

В одном селе во время грозы встретил я женщину, которая рассказала, что у них в селе живут пленные москали — по моему говору она догадалась, что я русский. Мои соотечественники живут здесь в работниках у местных жителей. Она предложила познакомить меня с ними. Я согласился — нужно было разведать обстановку.

Женщина пригласила меня к себе в дом и послала дочку за русскими. Они пришли. Мы познакомились, и я предложил им пойти со мной: влиться в местный партизанский отряд или же попробовать вместе пробиться к своим. Они не решились сразу дать ответ, но обещали подумать.

— Мы пленные, — угрюмо твердил один из них, — нас считают изменниками Родины. Сейчас пойдем или потом — ответ-то один…

Увидев мои окровавленные ноги, ребята предложили отдохнуть несколько дней у них, обещали устроить на работу — шел сенокос. Я прожил в этом селе около недели: ноги почти зажили, но мои новые знакомые так и не решились идти со мной.

Я пошел один.

По дороге мне встречалось немало таких групп, и все они советовали мне остаться. Я же стремился как можно скорее соединиться со своей армией и отомстить за Освенцим, Бухенвальд — за миллионы загубленных там людей. Позднее, уже после того как попал к своим и проходил спецпроверку, я узнал, что батракам-военнопленным было куда легче доказать свою невиновность, чем мне. Они, конечно, не пережили столько мук от фашистов, но их положение было понятным — работали у хозяев по [276] принуждению, кроме того, они могли свидетельствовать друг о друге. Я же, неизвестный, был особенно подозрителен.

Так я прошел Западную Украину. В первой же деревне Днепропетровской области, куда я зашел попросить еды, прямо посреди улицы, на колодце, висела партизанская листовка. Я не поверил своим глазам. Требовалось как можно скорее узнать, как попасть в отряд. Недолго думая, я повернул к ближнему дому. Хозяин, мужчина лет сорока, оказался дома. На мое приветствие он не ответил. На все мои вопросы бурчал, что о партизанах ничего не слышал. Пожав плечами, я вышел на улицу и побрел вдоль деревни. На окраине встретил старика, он пригласил меня в дом и рассказал, что партизаны приходили в село сегодня ночью, и в стычке с полицией один из них погиб. По слухам, это была группа партизанского соединения Ковпака, и ушли они на запад. Тогда я спросил старика, почему здешние жители так недружелюбно встречают путников. И тот ответил, что население запугано немцами, да к тому же со дня на день ожидают карательный отряд, а это всегда означает одно и то же — смерть. Распрощавшись со стариком, я пошел на восток — искать партизанский отряд было, похоже, бесполезно.

Куща

Без больших приключений я пересек Днепропетровскую, Винницкую и Киевскую области. Но на границе Полтавской области пришлось задержаться. Красная Армия приближалась, и полицейские чувствовали себя неспокойно. Боясь, что ночью в [277] деревню придут партизаны и перебьют их поодиночке, полицаи обосновывались в одном населенном пункте, выставляли усиленную охрану и только тогда могли чувствовать себя в безопасности. Группировка полицаев в этой местности называлась Куща.

Жители деревушки, из которой я только что вышел, не знали, где сейчас расположились полицаи — связь между деревнями почти не поддерживалась, мешали труднопроходимые торфяные болота. Я пошел по болоту и уже на закате увидел на горизонте первую деревню Полтавщины. Настроение было прекрасным, впервые за время моего скитания я запел. «Широка страна моя родная», — пел я во весь голос, словно шагал по свободной земле.

В деревне я зашел в крайнюю хату и попросился на ночлег. Женщина, варившая в печи вареники, ответила мне отказом, так как в деревне — Куща. Зато она угостила меня варениками с вишней. Я поблагодарил ее и, уходя, сунул вареники в карман. Недолго думая, решил зайти еще в один дом. В последнее время я осмелел и запросто заходил в деревни, зная, что местные жители всегда поддержат русского человека. Вот и сейчас пошел, хотя и был предупрежден об опасности.

Во дворе женщина мыла пустые бутылки. Я попросился переночевать, и хозяйка махнула рукой: «Зайдите в хату, там человек сидит». Зашел, вижу, сидит мужчина средних лет и читает немецкую газету на украинском языке. Переночевать он мне разрешил, но прежде расспросил, кто я и откуда. В разговоре посетовал, что у него самого две недели назад сына в неметчину увезли. Наконец, отложив газету, он сказал: «Вы подождите, сейчас вечерять [278] будем, только сынишку пошлю — на молочный пункт бутылки отнести», и вышел. Во дворе он что-то тихо сказал жене и вернулся в дом. Постояв немного посреди горницы, снова ушел куда-то. От нечего делать взял я в руки газету и стал просматривать статьи. Я плохо читал на украинском, но понял: в каждой статейке одно и то же — восхваление немецкой армии и нового порядка. Победная сводка с фронтов была годичной давности. Так прошло с четверть часа. Вдруг слышу во дворе мужской голос: «Посторонние есть?» «Есть, в хате», — тут же отвечает хозяйка. И не успел я опомниться, как

по крыльцу застучали сапоги. Я сделал вид, что очень увлечен газетой и не замечаю вошедшего, но украдкой, поверх листа, разглядываю невысокого мужчину в темно-зеленом суконном костюме. Такого обмундирования я, повидавший немало фашистских мундиров, еще ни разу не встречал. Похоже, кущинцам досталась старая, залежавшаяся форма немецкой полиции.

Наконец, вошедший заговорил: потребовал предъявить документы, как он сказал, «лигитымацию». Я протянул ему бумагу на имя Миколы Ивановича Хоменко. Внимательно просмотрев ее, полицай поинтересовался: «А кто документ подписывал?» Я на секунду замешкался: все сведения о себе я выучил на зубок, а вот на подпись внимания не обратил. Вспомнилось, что было что-то очень неразборчивое, но первая буква вроде бы «К». «Коваленко», — говорю я после паузы. Полицай нахмурился. Придется, говорит, тебе со мной пройтись до участка, там все и выясним. Вижу, плохо мое дело, начинаю просчитывать варианты: если поведет окраиной села — попытаюсь сбежать, если будет применять [279] силу — убью его, благо я сильнее и выше. Но соображения мои не пригодились: как только вышли из хаты, во двор вошел еще один полицай — высокий мужчина лет тридцати пяти. Одет он в нашу офицерскую форму, широким ремнем похлопывает себя по сапогам и улыбается: «А, вот он, партизан!»

Повели меня в полицейскую Кущу, расположившуюся в деревенской школе. Не успели мы войти в помещение, как на меня набросилось пятнадцать человек и стали обыскивать. Обшарили карманы, «обхлопали» руки, ноги, но ничего не нашли. Затем завели «партизана» в дежурное помещение на допрос. Там я снова повторил свою обычную «песню».

После допроса меня заперли в маленькой комнатке с соломенной подстилкой в углу и единственным окном, забитым изнутри крышкой от большого фанерного ящика. Посмотрев в щели, я увидел, что решетки нет, а стекла выбиты. Тогда я лег на солому, достал вареники, но есть не смог — нервы были напряжены до предела. Вскоре пришли с новым обыском, отобрали ремень. Примерно через полчаса вызвали на допрос к начальнику полиции. Я в который раз повторил свои показания, и начальник, заскучав, приказал завтра утром отправить меня в район: мол, там для меня найдется телеграфный столб. Снова бросили в камеру.

Лежу в своем углу на соломе и слушаю, как в коридоре переговариваются полицейские. Один говорит: «Надо отпустить парня, а то повесят. Жалко, молодой еще». Другой отвечает: «Ну

да, а вот если ты к партизанам попадешь, думаешь, они тебя отпустят?» Слышу вступается кто-то третий: «Конечно, попадешься — не помилуют, но ведь у тебя самого [280] брата недавно в Германию увезли. Вдруг он возьмет да убежит. Ему бы только до дома добраться, а его такие, как мы, голубчики поймают, да повесят. И что тогда?» Поговорив еще пару минут, они ушли. Стало тихо, на улице стемнело, слышны только шаги часового. Вот он шагает по коридору, входит в дежурку, выходит из нее и идет на крыльцо. Постояв там немного, повторяет свой маршрут. Стал я потихоньку, по миллиметру, отрывать фанеру от окна, пока часовой ходит по коридору. Оторвал, осторожно опустил ее на пол, медленно открыл окно и выпрыгнул во двор, в заросли кукурузы. Продравшись через растительность, побежал по улице. Ночь была темной. Когда я пробегал мимо дома, из которого меня забрали, оттуда доносились пьяные голоса — полицаи горланили песни. В открытое окно я увидел хозяина, начальника полиции и двух давешних полицаев. Только сейчас я догадался, в какой дом попросился ночевать. С тех пор я стал осторожнее.

Фронт приближался, вечерами слышны были отдаленные артиллерийские залпы на северо-восточном направлении. Я свернул туда, и дорогу теперь спрашивал уже не на Харьков, а на Великие Сорочинцы.

Однажды вечером, неподалеку от совхоза им. Буденного Миргородского района, встретил я в поле мужчин, накладывавших солому на подводы. Я спросил у них дорогу, они показали, а когда я хотел уходить, один из мужчин отвел меня в сторону и сказал, что окрестности Сорочинцев прочесывают немецкие карательные отряды. Убивают всех подозрительных, поэтому без документов там лучше не показываться. Мужчина предложил мне ночлег, а если я решу остаться, предложил подыскать работу [281] в совхозе. Я, наученный кущинцами, долго колебался. Меня поспешили успокоить: «Да вы не бойтесь, здесь уже работает человек двадцать пленных, не вы один такой». Это не развеяло моих сомнений, но ночевать к нему я все-таки пошел — очень уж соблазнительно было переночевать под настоящей крышей. Уложили меня в хате, на свежей соломе, а за окном всю ночь шел сильный дождь. Утром, когда я проснулся, хозяин разговаривал обо мне с гостем — босым мужчиной в засученных до колен брюках. Они предложили мне временно устроиться на работу, осмотреться. Позавтракав, пошли мы втроем к завхозу, где я написал заявление на работу, снова выдав себя за украинца из Харькова. Прочитав бумагу, завхоз понял, что я не знаю украинского языка и, чтобы не выдать меня, переписал

заявление сам. С этим заявлением мы пошли к управляющему. В дверях неожиданно столкнулись с полицейским, одетым в форму советского летчика. Он спросил: «Кто ты такой есть?» Ответить ему я не успел, поскольку ловкий переводчик схватил офицера под руку и почти насильно вывел на улицу.

«Снова засада!» — подумал я и потихоньку начал продвигаться к выходу, но неожиданно прямо в дверях столкнулся с моим давешним спасителем. «Не бойся, парень, все уладим», — улыбнулся переводчик, как я впоследствии узнал, еврей по национальности, выдававший себя за румына.

Так я начал работать в совхозе. Днем раскорчевывал пни, по вечерам слушал приближающуюся артиллерийскую канонаду. Наконец заговорили об освобождении Харькова. Поработав несколько дней, я изучил обстановку и познакомился с остальными пленными. Бежать решили вчетвером. Мы [282] знали, что на случай отступления комендант совхоза держит в бараке груженный продуктами грузовик. Чего в нем только не было: и мед, и масло, и окорока, и вишневая наливка… В одну из ночей караулить машину выпало товарищу из нашей группы. Мы решили не терять времени: взяли с собой все самое необходимое, раздали излишки продуктов знакомым и сбежали.

Освобождение

Навстречу нам по дорогам шли разбитые немецкие части, тащились изувеченные «тигры», «пантеры» и прочие танки, ползла артиллерия. Какой контраст с началом войны! Тогда они шли уверенно, наступая лавиной, как саранча, уничтожали все на своем пути, а теперь печально плетутся назад, увозя свою хваленую технику. Мне еще сильней захотелось попасть на фронт, чтобы добить фашистского зверя и отомстить за погибших товарищей.

Мы шли по малым проселочным дорогам, но и здесь встречались немцы, которые уже не обращали внимания на качество трассы. Часто нас останавливали и спрашивали документы. Предвидя это, ребята еще в совхозе запаслись бланками, а перед побегом заполнили их на имя каждого. К счастью, мои попутчики хорошо знали названия близлежащих деревень и могли убедительно сказать, куда мы идем. Но это не спасло нас от неприятностей.

Как-то ночью мы двигались вдоль восточного берега реки, перебегая от куста к кусту. Неожиданно над нами взвились осветительные ракеты, а следом раздалась автоматная очередь. Мы припали к земле, а когда ракеты погасли, побежали дальше. Но [283] тут взвились новые ракеты, и нас снова обстреляли — теперь уже с двух сторон. Одного товарища убило, другого ранило. Мы кинулись в другую сторону и все-таки скрылись от преследования, а на следующий день решили вернуться в совхоз. Продвигаясь по лесу, мы заметили протянутый по земле телефонный кабель и перерубили его в нескольких местах, чтоб хоть как-то насолить немцам.

Возвратившись в совхоз, мы спрятались в доме у двух женщин, вывезенных немцами из Харькова, и никому не показывались на глаза. Тем временем немцы спешно готовились к отступлению на запад: увозили скот, пшеницу, взрывали здания. По всему чувствовалось, что скоро придут наши. Оставаться в совхозе стало опасно — в дома врывались немцы, забирали людей и увозили их на запад. Ночью мы перешли в небольшой хуторок, расположенный вдалеке от дороги, и там заночевали. Утром мы пришли на соседние бахчи за арбузами, и старик сторож, плача от радости рассказал, что в совхоз пришла Красная Армия. Мы побросали арбузы и побежали в совхоз.

В квартире, где мы накануне прятались, за столом сидел советский офицер, на его погонах было три звездочки и артиллерийские значки. Я впервые увидел такие погоны, но

понял, что это старший лейтенант артиллерии. Женщины представили нас, а показав на меня, сказали: «Это наш Николай Хоменко». Я ответил, что с этой минуты я уже не Николай Хоменко, я — Павел Стенькин. Офицер предложил пойти с ним в штаб полка и оформиться в минометную роту, которой он командовал.

Вечером этого знаменательного дня я. снова пошел на Запад, но теперь уже не как узник, а как боец [284] Советской армии. Мечта моя сбылась. С радостью замечал я большие изменения в нашей армии: более совершенная техника и самоотверженный патриотизм бойцов, неудержимо рвущихся вперед, в бой. Ночью меня взяли в разведку, где пригодился мой богатый опыт скитаний по Германии. У меня оказались отлично развиты слух, зрение, осторожность и умение ходить бесшумно. Зная, что рядом со мной мои товарищи, я был готов на любой подвиг. От счастья я буквально не чувствовал под собой земли, казалось, у меня появились крылья… В этой разведке мы взяли двух «языков».

Я воевал семь дней, пока не пошел в штаб батальона, чтобы официально оформиться в часть. Пока заполняли документы, моей биографией заинтересовался начальник особого отдела полка, который в то время присутствовал в нашем штабе. Он-то и сказал командиру, что оформлять в батальон меня нельзя, так как все лица, находившиеся в плену, в оккупации и окружении, должны пройти спецпроверку. В срочном порядке меня направили в Миргород, в запасной полк, где были собраны такие, как я. Мой случай оказался очень трудным, проверка тянулась так долго, что воевать мне, к великому моему сожалению, больше не пришлось.